

Александр Степанович Грин

Загадочные истории



Александр Грин
Загадочные истории

«Public Domain»

Грин А. С.

Загадочные истории / А. С. Грин — «Public Domain»,

«– Завтра приступ! – сказал, входя в палатку, человек с измученным и счастливым лицом – капитан Егер. Он поклонился и рассмеялся. – Поздравляю, господа, всех; завтра у нас праздник! Несколько офицеров, игравших в карты, отнеслись к новости каждый по-своему. – Жму вашу руку, Егер, – вскричал, вспыхивая воинственным жаром, проворный Крисс...»

Содержание

Эпизод при взятии форта «Циклоп»	5
Происшествие в квартире г-жи Сериз	9
Рассказ Бирка	13
Путь	22
Мертвые за живых	26
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Александр Грин

Загадочные истории

Эпизод при взятии форта «Циклоп»

I

– Завтра приступ! – сказал, входя в палатку, человек с измученным и счастливым лицом – капитан Егер. Он поклонился и рассмеялся. – Поздравляю, господа, всех; завтра у нас праздник!

Несколько офицеров, игравших в карты, отнеслись к новости каждый по-своему.

– Жму вашу руку, Егер, – вскричал, вспыхивая воинственным жаром, проворный Крисс.

– По-моему – рано; осада еще не выдержана, – ровно повышая голос, заявил Гельвий.

– Значит, я буду завтра убит, – сказал Геслер и встал.

– Почему – завтра? – спросил Егер. – Не верьте предчувствиям. Сядьте! Я тоже поставлю несколько золотых. Я думаю, господа, что перед опасностью каждый хоронит себя мысленно.

– Нет, убьют, – повторил Геслер. – Я ведь не жалуясь, я просто знаю это.

– Пустяки! – Егер взял брошенные карты, стасовал колоду и стал сдавать, говоря: – Мне кажется, что даже и это, то есть смерть или жизнь на войне, в воле человека. Стоит лишь сильно захотеть, например, жить – и вас ничто не коснется. И наоборот.

– Я фаталист, я воин, – возразил Крисс, – мне философия не нужна.

– Однако сделаем опыт, опыт в области случайностей, – сказал Егер. – Я, например, очень хочу проиграть сегодня все деньги, а завтра быть убитым. Уверяю вас, что будет по-моему.

– Это, пожалуй, легче, чем наоборот, – заметил Гельвий, и все засмеялись.

– Кто знает... но довольно шутить! За игру, братцы!

В молчании продолжалась игра. Егер убил все ставки.

– Еще раз! – насупившись, сказал он.

Золото появилось на столе в двойном, против прежнего, количестве, и снова Егер убил все ставки.

– Ах! – вскричал, горячась, Крисс. – Все это идет по вольной оценке. – Он бросил на стол портсигар и часы. – Попробуйте.

Богатый Гельвий утроил ставку, а Геслер учетверил ее. Егер, странно улыбаясь, открыл очки. Ему повезло и на этот раз.

– Теперь проиграться трудно, – с недоумением сказал он. – Но я не ожидал этого. Вы знаете, завтра не легкий день, мне нужно отдохнуть. Я проверял посты и устал. Спокойной ночи!

Он молча собрал деньги и вышел.

– Егер нервен, как никогда, – сказал Гельвий.

– Почему?

– Почему, Крисс? На войне много причин для этого. – Геслер задумался. – Сыграем еще?!

– Есть.

И карты, мягко вылетая из рук Геслера, покрыли стол.

II

Егер не пошел в палатку, а, покачав головой и тихонько улыбаясь мраку, перешел линию оцепления. Часовой окликнул его тем строгим, беспощадным голосом военных людей, от которого веет смертью и приказанием. Егер, сказав пароль, удалился к опушке леса. Пред выросшими из мрака, непоколебимыми, как литые из железа, деревьями, ему захотелось обернуться, и он, с тоской в душе, посмотрел назад, на черно-темные облака, тучи, под которыми лежал форт «Циклоп». Егер ждал последней, ужасной радости с той стороны, где громоздились стены и зеленые валы неприятеля. Он вспомнил о неожиданном выигрыше, совершенно ненужном, словно издевающимся над непоколебимым решением капитана. Егер, вынув горсть золота, бросил его в кусты, та же участь постигла все остальные деньги, часы и портсигар Крисса. Сделав это, капитан постоял еще несколько времени, прислушиваясь к тьме, как будто ожидал услышать тихий ропот монет, привыкших греться в карманах. Молчание спящей земли вызвало слезы на глаза Егера, он не стыдился и не вытирал их, и они, свободно, не видимые никем, текли по его лицу. Егер думал о завтрашнем приступе и своей добровольной смерти. Если бы он мог – он с наслаждением подтолкнул бы солнце к востоку, нетерпеливо хотелось ему покончить все счеты с жизнью. Еще вчера обдумывал он, тоскуя в бессоннице, не пристрелить ли себя, но не сделал этого из гордости. Его положение в эти дни, после письма, было для него более ужасным, чем смерть. Егер, хоть было совсем темно, вынул из кармана письмо и поцеловал смятую бумагу, короткое, глупое письмо женщины, делающей решительный шаг.

«Прощай навсегда, Эльза», – повторил он единственную строку этого письма. Мучительным, волнующим обаянием запрещенной отныне любви повеяло на него от письма, гневно и нежно скомканного горячей рукой. Он не знал за собой никакой вины, но знал женщин. Место его, без сомнения, занял в сердце Эльзы покладистый, услужливый и опытный Магуи, относительно которого он недаром всегда был настороже. Самолюбие мешало ему просить объяснений. Он слишком уважал себя и ее. Есть люди, не способные ждать и надеяться; Егер был из числа их; он не хотел жить.

Медленно вернулся он к себе в палатку, бросился на постель и ясно, в темноте, увидел как бы остановившуюся в воздухе пулю, ту самую, которую призывал всем сердцем. Неясный свет, напоминающий фосфорическое свечение, окружал ее. Это была обыкновенная, коническая пуля штуцеров Консидье, – вооружение неприятеля. Ее матовая оболочка была чуть-чуть сорвана в одном месте, ближе к концу, и Егер отчетливо, как печатную букву, различал темный свинец; пятно это, величиной в перечное зерно, убедительно, одноглазо смотрело на капитана. Прошла минута, галлюцинация потускнела и исчезла, и Егер уснул.

III

Белый туман еще струился над землей, а солнце пряталось в далеких холмах, когда полк, построенный в штурмовые колонны, под крик безумных рожков и гром барабанов, бросился к форту. «Циклоп», построенный ромбом, блестел веселыми, беглыми иллюминационными огоньками; то были выстрелы врассыпную, от них круто прыгали вперед белые, пухлые дымки, хлеща воздух сотнями бичей, а из амбразур, шушукая, вслед за тяжелыми ударами пушек, неслись гранаты. Егер бежал впереди, плечо к плечу с солдатами и каждая услышанная пуля наполняла его холодным сопротивлением и упрямством. Он знал, что той пули, которая пригрезилась ночью, услышать нельзя, потому что она не пролетит мимо. Солдат, опередивший его на несколько шагов, вдруг остановился, покачал головой и упал. Егер, продолжая бежать, осмотрелся: везде, как бы спотыкаясь о невидимое препятствие, падали, роняя оружие, люди, а другие, перескакивая через них, продолжали свой головокружительный бег.

«Скоро ли моя очередь?» – с недоумением подумал Егер, и тотчас, вспахав землю, граната разорвалась перед ним, плюнув кругом землей, осколками и гнилым дымом. Горячий, воздушный толчок остановил Егера на одно мгновение.

– Есть! – радостно вскричал он, но, встряхнувшись, здоровый и злой, побежал дальше.

Поле, по которому бежали роты генерала Фильбанка, дробно пылилось, как пылится, под крупным дождем, сухая грунтовая дорога. Это ударились пули.

«Как много их, – рассеянно думал Егер, подбегая к линии укреплений. – Дай мне одну, господи!» – Нетерпеливо полез он первый по скату земляного вала, откуда, прямо в лицо, брызгал пороховой дым. За капитаном, скользя коленями по гладкому дерну, ползли солдаты. На гребне вала Егер остановился; его толкали, сбивали с ног, и уже началась тесная, как в субботней бане, медленная, смертельная возня. Гипноз битвы овладел Егером. Как в бреду, видел он красные мундиры своих и голубые – неприятеля: одни из них, согнувшись, словно под непосильной тяжестью, закрывали простреленное лицо руками, другие, расталкивая локтями раненых, лезли вперед, нанося удары и падая от них сами; третьи, в оцепенении, не могли двинуться с места и стояли, как Егер, опустив руки. Острие штыка протянулось к Егеру, он молча посмотрел на него, и лицо стало у него таким же измученным и счастливым, как вчера вечером, когда он пришел к товарищам сообщить о приступе. Но о штык звякнул другой штык; первый штык скрылся, а под ноги Егеру сунулся затылком голубой мундир.

Капитан встрепнулся. «Нет, госпожа Смерть! – сказал он. – Вы не уйдете». Он бросился дальше, ко рву и стенам форта, где уже раскачивались, отталкиваемые сверху, штурмовые лестницы. Его торопили, ругали, и он торопил всех, ругался и лез, срываясь, по узким перекладам лестниц. Он бросался в самые отчаянные места, но его не трогали. Многие падали рядом с ним; иногда, отчаявшись в том, чего искал и на что надеялся, он вырывался вперед, совсем теряясь для своих в голубой толпе, но скоро опять становилось кругом свободно, и снова бой завивал свой хриплый клубок впереди, отгесняя Егера. Наконец, улыбнувшись, он махнул рукой и перестал заботиться о себе.

IV

Дней через шесть после взятия форта в палатку Егера зашел генерал Фильбанк. Капитан сидел за столом и писал обычный дневной рапорт.

– Позвольте мне лично передать вам письмо, – сказал Фильбанк, – после того, что вы показали при штурме «Циклопа», мне приятно лишний раз увидиться с вами.

– Благодарю, генерал, – возразил Егер, – но я был не более, как... – Взгляд его упал на почерк адреса, он, молча, сам взял письмо из рук генерала и, не спрашивая обычного позволения, разорвал конверт. Руки его тряслись. Медленно развернув листок, Егер прочел письмо, вздохнул и рассмеялся.

– Ну, я вижу... – холодно сказал Фильбанк, – ваши мысли заняты. Ухожу.

Егер продолжал смеяться. От смеха на глазах его выступили слезы.

– Извините, генерал... – проговорил он, – я не в своем уме.

Они стояли друг против друга. Генерал, натянуто улыбаясь, пожал плечами, как бы желая сказать: «Я знаю, знаю, как частный человек, я сам»... – сделал рукой извиняющий жест и вышел.

– О глупая! – сказал Егер, прикладывая письмо к щеке. – О глупая! – повторил он так мягко, как только мог произнести это его голос, охрипший от команд и дождей. Он снова перечитал письмо. «Дорогой, прости Эльзу. Я поверила клевете на тебя, мне ложно доказали, что я у тебя не одна. Но я больше не буду».

– Ах вы, глупые женщины! – сказал Егер. – Стоит вам соврать, а вы уже и поверили. Я счастливый человек. За что мне столько счастья?

Затуманенными глазами смотрел он прямо перед собой, забыв обо всем. И вот, тихо задрожав, на полотнище палатки остановилось, как солнечный зайчик, неяркое, конусообразное пятно. Центр его, заметно сгущаясь, напоминал пулю. Конец оболочки, сорванный в одном месте, обнажил темный свинец.

Егер закрыл глаза, а когда открыл их, пятно исчезло. Он вспомнил о безумном поведении своем в памятное утро взятия форта и вздрогнул. «Нет, теперь я не хочу этого, нет». – Он перебрал все лучшие, радостные мгновения жизни и не мог найти в них ничего прекраснее, восхитительнее, божественнее, чем то письмо, которое держал теперь в руках.

Он сел, положил голову на руки и долго, не менее часа, сидел так, полный одним чувством. Когда заиграл рожок, он не сразу понял, в чем дело, но, поняв, внутренне потускнел и, повинуясь привычке, выбежал к построившейся уже в боевой порядок роте. Наступал неприятель.

Стрелки рассыпались, выдвигаясь цепью навстречу неприятельскому арьергарду, откуда, словно приближающийся ливень, летела, рассыпаясь, пыльная линия ударяющих все ближе и ближе пуль. Егер, следуя за стрелками, ощутил не страх, а зудливое, подозрительное беспокойство, но тотчас, как только глухие щелчки, пыля, стали раздаваться вокруг него, беспокойство исчезло. Его сменила теплая, благородная уверенность. Сильным, спокойным голосом отдал он команду ложиться, улыбнулся и упал с пробитой головой, не понимая, отчего земля вдруг поднялась к нему, бросившись на грудь.

– Удивительно крепкие пули, – сказал доктор в походном лазарете своему коллеге, рассматривая извлеченную из головы Егера пулю. – Она даже не сплюснулась. Чуть-чуть сорвало оболочку.

– Это не всегда бывает, – возразил второй, умывая темные, как в перчатках, руки, – и пуля Консидье может, попав в ребро костяка, разбиться.

Он стал рассматривать крошечный, весом не более пяти золотников, ружейный снаряд. У конца его была слегка сорвана оболочка и из-под нее темнел голый свинец.

– Да, гуманная пуля, – сказал он. – Как по-вашему, дела капитана?

– Очень плохо. На единицу.

– С минусом. Геслер был крепче, но и тот не выжил.

– Да, – возразил первый, – но этот счастливее. Он без сознания, а тот умер, не переставая кричать от боли.

– Так, – сказал второй, – счастье условно.

Происшествие в квартире г-жи Сериз

*«Мало на свете мудрецов,
друг Горацио».*
Шекспир наизнанку

I

Калиостро не умер; его смерть выдумали явно беспомощные в достижении высших истин рационалисты. Во времена Калиостро или, вернее, в ту эпоху, когда великий человек этот стоял на виду, рационалисты были еще беспомощнее. У них накопилось кое-что, правда: Ньютоново яблоко, Лавуазье и т. п., но какими пустяками казалось это в сравнении с циклопическими знаниями знаменитого Калиостро! Ламбаль и Прекрасная Цветочница своевременно убедились в них¹. Итак, рационалисты, эмпирики и натуралисты смертельно завидовали Калиостро, бессмертному и неуязвимому в своей мощи. Они ловко использовали то обстоятельство, что гениальный итальянец встретил ледяной прием в столице нашего отечества, а двор Екатерины, воспитанный на малопитательном для ума смещении юмориста Вольтера с стеклоделом Ломоносовым и футуристом Тредьяковским, не мог усвоить всей ценности знаний своего великого гостя.

Неуспех Калиостро приписали его бессилию, а отсюда заключили, что он смертен. Никто, правда, не видел его гроба, но общий голос решил: «помер, где-нибудь; тайно, стыдливо помер; помер, как пить дать». И это рационалисты! Но он, как сказано, не погрешил этим.

Калиостро, наскучив колоссальным театром истории, кою наблюдал около пяти тысяч лет, оставил мудрую Клио и удалился на одну из Гималайских вершин – Армун, затерянную в обширных джунглях. Это произошло в 1823 году. На Армуне Калиостро занялся чистым знанием: постижением начала вселенной – занятие, малопонятное игроку на бильярде или ялтинскому проводнику, но единственное, на чем мог сосредоточить теперь пламя своего ума Калиостро, знающий все. Воспитанник халдейских жрецов, основатель масонских лож и сенешал Розенкрейцеров, – он не очень-то стеснялся на Армуне с покорной ему материей. Сложное, непреодолимое движение его воли мгновенно перевело идею предметов в первооснову материи; она, забушевал, приняла послушные формы, и на снеговой вершине Армуна сверкнул, как выстрел, мраморный дворец, застыв в законной неподвижности веса и трех измерений.

II

В конце июля 1914 года большой пантакль Соломона, лежавший на письменном столе Калиостро, издал тихий звон и на краях его вспыхнули голубые пятна тусклого, как сумерки, света. Это указывало на сотрясение мирового эфира. Заинтересованный Калиостро посмотрел в овальное зеркало Сведенборга и увидел символы огромной войны, предсказанной Сен-Жерменом еще в 1828 году. Множество других признаков подтверждало это: резец из горного хрусталя, укрепленный над девственным пергаментом, писал знак Фалега, духа планеты Марс; неподвижно висевший в воздухе цветок Мира завял, и тень крови пала на благородное чело бюста Агриппы.

¹ Принцесса Ламбаль, подруга Марии-Антуанетты, зверски убитая во время сентябрьских убийств. Прекрасная Цветочница – прозвище девушки из народа, посаженной на раскаленные острия пик санкиюотов по приказанию Теруан-де-Мерикур, любовницы Марата. Смерть обеих была предсказана Калиостро в 1789 году.

Согласно договору, заключенному лет триста назад между Калиостро и десятью сефиротами, элементами Белой магии, – Калиостро мог постигать смысл текущих событий и развитие их не иначе, как совершив предварительно акт Добра, направленный против Самоэля, духа яда и смерти. Вспомнив это и горя желанием проникнуть в разум событий, он немедленно приступил к действиям.

– Мадим, Цедек, Шелом-Иезодот, – тихо сказал он, – ко мне! Моя мысль – моя воля!

Погас свет, и тотчас в глубоком мраке наметились гигантские очертания трех сефиротов; контуры эти колебались, светились – напряглись, получили непроницаемость, вес, тело, дыхание – и пол скрипнул под их ногами.

Цедек был сефирот прямоты, Мадим – страшной силы, Шелом-Иезодот – разрушителем оснований, то бишь принципов.

– Цедек, разбей воздух на запад, – сказал Калиостро, – Мадим, уничтожь пространство, а ты, Шелом-Иезодот, как самый ленивый, получишь более всех работы. Разрушь мое принципиальное равнодушие к судьбе людей!

Вновь вспыхнул свет; фантомы исчезли; беззвучный ураган молнией пролетел от Армуна к Бельгии; пространство пало, воздух исчез полосой в сто футов, а непоколебимое равнодушие Калиостро сменилось доброй улыбкой. И вот первое, что увидел он в стране горя и что должно было послужить взяткой сефиротам за единение с Разумом событий, именуемым Ацилут.

III

В маленькой, но чистой квартире, соблазнительно уютной и светлой, сидела в кресле ушедшего под форты мужа маленькая госпожа Сериз. Опишем наружность ее, которая понравилась Калиостро: чистый, правильный лоб, мягкий профиль, темнорусые волосы, нежный рот и все нежное. Взгляд ее темных глаз был важный и милостивый, и светилось в нем порядочно некой хорошей глупости, что извинительно, так как юной женщине этой было всего двадцать лет. Глаза ее были вчера заплаканы, а сегодня остались в них следы слез – тяжесть ресниц.

Госпожа Сериз занималась вот каким делом: она читала роман, судьба героев которого напоминала ее судьбу; в этом романе Альберт Вуаси тоже ушел на войну и у него тоже была жена. Разумеется, г-жа Сериз сделала эту жену собой, а господина Вуаси – господином Сериз. В процессе чтения вздумалось ей загадать следующее: если Вуаси благополучно вернется, то и Сериз благополучно вернется, а если Вуаси неблагополучно вернется, то и Сериз последует его примеру. С пылкостью, свойственной любви и молодости, г-жа Сериз тотчас же уверовала в гадание и гадала уже триста пятнадцатую страницу, как вдруг, перевернув ее, увидела карандашную надпись, выведенную чем-то на переплете: «Дико и некультурно вырывать страницы; на это способен только немец; стыдитесь, неизвестный вырыванец!»

Увы! последние страницы были вырваны! А г-жа Сериз и не подозревала этого! Гадание, таким образом, кончалось на следующих словах: «Шатаясь от усталости, Альберт Вуаси обнажил палаш и кинулся к по...». Дальше шла вышеупомянутая справедливая надпись. Г-жа Сериз топнула обеими ножками и едва не заплакала. Что произошло с Вуаси? И к чему кинулся он, к какому такому «по...». Если это – пороховой погреб – от Вуаси мало чего осталось. Если – по...лку, то он тоже не выстоял один против сотен людей. Если – по...гибели, то... каждый понимает, что это значит и не следовало писать такой глупый роман.

Видя огорчение госпожи Сериз, Калиостро, стоя на вершине Армуна, мыслью приказал явиться новому взводу сефиротов. То были: Бина, сефирот Разумного действия, Хесед, сефирот Сострадания и Нэтцах – Стойкость победы. С крыльев их сыпался свет, их глаза заботливо смотрели на Калиостро, повиновались которому они охотно и без капризов.

– Я думаю, – сказал Калиостро, – я думаю нечто, что должно быть исполнено. Моя мысль – мое приказание!

Тотчас же сефироты прониклись его желаниями и скрылись. Бина, исчезая, усмехнулся: ему нравилось интересное поручение. В мгновение, столь быстрое, что оно не было даже временем, он принял вид Альберта Вуаси и явился перед г-жой Сериз, которая к этому моменту была лишена Калиостро способности изумляться – на время визита Бины. Ее состояние допускало теперь, незаметно для нее самой, принимать как должное все, что бы она не увидела.

– Здравствуйте, г-жа Сериз! – сказал Вуаси-Бина, оправляя гусарский ментик, – «...следнему неприятельскому солдату».

– Г-н Вуаси! – строго заявила г-жа Сериз. – Вы исчезли с триста пятнадцатой страницы, хотя должны были знать, что я гадаю на вас. Вы исчезли, оставив это страшное «по...».

– Так, – сказал Вуаси-Бина. – Я кинулся к последнему неприятельскому солдату и взял его в плен.

– Так ли, г-н Вуаси?

– Да, это так. Поверьте, мне лучше знать: ведь я герой того романа, что лежит на вашем столе. Впоследствии, когда вам попадет в руки второй, целый экземпляр этой книги, вы почувствуете ко мне полное доверие.

– Значит, вы благополучно вернулись?

– Чрезвычайно благополучно. Настолько благополучно, что советовал бы некоторым дамам гадать на мою особу, – в известных целях.

Г-жа Сериз покраснела и стала кашлять. Она покашляла с минуту, не более, но так выразительно, что Бина-Вуаси счел долгом помочь ей.

– Г-н Сериз, конечно, здоров, – сказал он. – Он вернется.

– Вы думаете?

– Я знаю это. Ему ворожила очаровательная бабушка будущих своих внуков.

Г-жа Сериз, в виде благодарности, заинтересовалась положением самого Вуаси.

– Так вы, значит, женились на мадемуазель Шеврез?

– Как полагается.

– По любви?

– Да.

– И были ей хорошим мужем?

– Сударыня, – возразил Вуаси-Бина, – автор в противном бы случае не сел бы писать роман.

Г-жа Сериз растроганно протянула ему руку. Но окончился срок сефирота: материя, коей был облечен он, распалась в ничто, и рука женщины встретила пустоту и вернулось изумление.

– Что это? – сказала она, вздрагивая. – Я, кажется, слишком много думала об этом романе. С кем говорила я? Ах, тоска, тоска! Был здесь г-н Вуаси или нет? Если он был, то уход его не совсем вежлив.

Она томилась, и тут начал работать Хесед, коему поручено было рассмешить г-жу Сериз, это во-первых, и внушить ей Радостную уверенность – во-вторых. Сефирот оживил фотографию г-на Сериз, стоявшую на каминной доске. Как только взгляд г-жи Сериз упал на этот портрет – с ним произошли поразительные, странные вещи: левая рука ловко закрутила черный, молодой ус; один глаз комически подмигнул, а другой стал вращаться непостижимым, но совершенно не безобразным образом, и г-жа Сериз окаменела от удивления. А глаз все подмигивал, ус все топорщился, и было это так нежно и смешно, что г-жа Сериз, не выдержав, расхохоталась. Этого и добивался Хесед; тотчас же он проник в доступное в эту минуту сердце женщины и Радостная уверенность была с ней. Конечно, она долго протирала глаза, когда портрет успокоился, но это ничего не сказало ей; она бессильна была решить – было то, что было, или же было то, чего не было? Так гениальный Калиостро распорядился ее сознанием.

IV

Третий сефирот, Нэтцах, очутился на гребне бельгийского окопа и тщательно поймал свою крепкой, как алмаз, рукой штук девять шрапнельных пуль, готовившихся пробить г-на Сериз. Он так и остался при нем, щелкая время от времени пальцем по некоторым весьма назойливым гранатам и бомбам. Сефироты, как и люди, нуждаются в отдыхе; отдых Нэтцаха, когда он предавался ему, состоял в том, чтобы портить неприятельские материалы. Он трансформировал взрывчатые вещества, делая из пороха нюхательный табак, – тогда при выстреле все чихали, и чихали так долго, что уж никак не могли взять верный прицел; или забивал пулеметы сжатым ветром, отчего пули их летели не далее трех шагов.

Много поднялось к небу душ с поля сражения, но не было среди них ни одной немецкой души. «Есть ли душа у немца?» – размышлял сефирот. Оставим его решать этот вопрос: мы уже решили. Есть, но она в пятках и не показывается.

Калиостро посмотрел в зеркало Свенденборга и увидел, что приказания выполнены. Тогда он взглянул вверх, к высокому потолку, где в сумерках снежного вечера тихо плавали чудесные лилии Ацилут – Мира сияния. Лилии издавали тонкий, прекрасный аромат, и аромат этот был Разум событий, и Калиостро погрузился в него. Каждому открыт Разум событий, кто поступает, как поступил Калиостро, но немногие знают это.

Вокруг вершины Армуна бушевала метель. К огромному зеркальному окну дворца подошел каменный баран; гордые, голодные глаза его выразительно смотрели на Калиостро, а на великолепных рогах белел снег.

– Ступай, дикий, ступай, – сказал Калиостро, – немного вниз и немного налево! Там есть еще довольно травы.

Баран исчез, и был ему по его бараньему положению – травяной кусок хлеба.

Так жил могущественный Калиостро на пике горы Армун, в северном Индостане, где никогда и никто не видел его. Все, описанное здесь, – истинно, и в заключение можем мы привести одну из семи тайных молитв Энхеридиона, читаемую по воскресеньям:

«Избави меня, Господь, свое создание, от всех душевных и телесных страданий, прошедших, настоящих и будущих. Дай мне, по благодати твоей, мир и здоровье и яви свою милость мне, слабому твоему созданию!»

Рассказ Бирка

Вначале разговор носил общий характер, а затем перешел на личность одного из присутствующих. Это был человек небольшого роста, крепкий и жилистый, с круглым бритым лицом и тонким голосом. Он сидел у стола в кресле. Красный абажур лампы бросал свет на всю его фигуру, за исключением головы, и от тени лицо этого человека казалось смуглым, хотя в действительности он был всегда бледен.

– Неужели, – сказал хозяин, глотая кофе из прозрачной фарфоровой чашечки, – неужели вы отрицаете жизнь? Вы самый удивительный человек, какого я когда-либо встречал. Надеюсь, вы не считаете нас призраками?

Маленький человек улыбнулся и охватил руками колени, легонько покачиваясь.

– Нет, – возразил он, принимая прежнее положение, – я говорил только о том, что все мои пять чувств причиняют мне постоянную, теперь уже привычную боль. И было такое время, когда я перенес сложную психологическую операцию. Мой хирург (если продолжать сравнения) остался мне неизвестным. Но он пришел, во всяком случае, не из жизни.

– Но и не с того света? – вскричал журналист. – Позвольте вам сообщить, что я не верю в духов, и не трогайте наших милейших (потому что они уже умерли) родственников. Если же вам действительно повезло и вы удостоились интервью с дедушкой, тогда лучше покривите душой и сокройте что-нибудь новенькое: у меня нет темы для фельетона.

Бирк (так звали маленького человека) медленно обвел общество серыми выпуклыми глазами. Напряженное ожидание, по-видимому, забавляло его. Он сказал:

– Я мог бы и не рассказывать ввиду почти полной безнадежности заслужить доверие слушателей. Я сам, если бы кто-нибудь рассказал мне то, что расскажу я, счел бы себя вправе усомниться. Но все же я хочу попытаться внушить вам к моему рассказу маленькое доверие; внушить не фактическими, а логическими, косвенными доказательствами. Все знают, что я – человек, абсолютно лишенный так называемого «воображения», то есть способности интеллекта переживать и представлять мыслимое не абстрактными понятиями, а образами. Следовательно, я не мог бы, например, правдоподобно рассказать о кораблекрушении, не быв свидетелем этой катастрофы. Далее, каждый рассказ убедителен лишь при наличии мелких фактов, подробностей, иногда неожиданных и редких, иногда простых, но всегда производящих впечатление большее, чем голый остов события. В газетном сообщении об убийстве мы можем прочесть так: «Сегодня утром неизвестным преступником убит господин N». Подобное сообщение может быть ложным и достоверным в одинаковой степени. Но заметка, ко всему остальному гласящая следующее: «Кровать сдвинута, у бюро испорчен замок», не только убеждает нас в действительности убийства, но и дает некоторый материал для картинного представления о самом факте. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу этим сказать следующее: подробности убедят вас сильнее вашего доверия к моей личности.

Бирк остановился. Одна из дам воспользовалась этим, чтобы вернуть следующее замечание:

– Только не страшное!

– Страхное? – спросил Бирк, снисходительно улыбаясь, как будто бы говорил с ребенком. – Нет, это не страшное. Это то, что живет в душе многих людей. Я готов развернуть перед вами душу, и если вы поверите ей, – самый факт необычайного, о котором я расскажу и который, по-видимому, более всего вас интересует, потеряет, быть может, в глазах ваших всякое обаяние.

Он сказал это с оттенком печальной серьезности и глубокого убеждения. Все молчали. И сразу самым сложным, таинственным аппаратом человеческих восприятий я почувствовал

сильнейшее нервное напряжение Бирка. Это был момент, когда настроение одного передается другим.

– Еще в молодости, – заговорил Бирк, – я чувствовал сильное отвращение к однообразию, в чем бы оно ни проявлялось. Со временем это превратилось в настоящую болезнь, которая мало-помалу сделалась преобладающим содержанием моего «я» и убила во мне всякую привязанность к жизни. Если я не умер, то лишь потому, что тело мое еще было здорово, молодо и инстинктивно стремилось существовать наперекор духу, тщательно замкнувшемуся в себе.

Употребив слово «однообразие», я не хочу сказать этим, что я сознавал с самого начала причину своей меланхолии и стремления к одиночеству. Долгое время мое болезненное состояние выражалось в неопределенной и, по-видимому, беспричинной тоске, так как я не был калекой и свободно располагал деньгами. Я чувствовал глухую полусознательную враждебность ко всему, что воспринимается пятью чувствами. Всякий из вас, конечно, испытывал то особенное, противное, как кислое вино, настроение вялости и томительной пустоты мысли, когда все окружающее совершенно теряет смысл. Я переживал то же самое, с той лишь разницей, что светлые промежутки становились все реже и, наконец, постепенно исчезли, уступив место холодной мертвой прострации, когда человек живет машинально, как автомат, без радостей и страданий, смеха и слез, любопытства и сожаления; живет вне времени и пространства, путает дни, доходит до анекдотической рассеянности и, в редких случаях, даже теряет память.

Случай показал мне, что я достиг этого состояния трупa. На площади, на моих глазах, днем, огромный фургон, нагруженный мебелью, переехал одно из безобидных существ, бегающих с картонками, разнося шляпы и платья. Подойдя к месту катастрофы (не из любопытства, а потому, что нужно было перейти площадь) тем же ровным ленивым шагом, каким все время я шел, – я машинально остановился, задержанный оравой разного уличного сброда, толпившегося вокруг бледного, как известка, погонщика. Девочка лежала у его ног, лицо ее, густо запачканное грязью, было раздавлено. Я видел только багровое пятно с выскочившими от боли глазами и светлые вьющиеся волосы. Сбоку валялась опрокинутая картонка – причина несчастья. Как говорили в толпе, фургон ехал рысью; малютка уронила свою ношу под самые ноги лошадей, хотела схватить, но упала, и в то же мгновение пара подков превратила ее невыспавшееся личико в кровавую массу.

Толпа страшно шумела, выражая свое негодование; трое полицейских с трудом удерживали дюжих мещан, желавших немедленно расправиться с погонщиком. Я видел слезы на глазах женщин, слышал их всхлипывания и, постояв секунд пять, двинулся дальше.

Повторяю: я все это видел и слышал, но мои нервы остались совершенно покойны. Я не чувствовал этих людей, как живых, страдающих, потрясенных, рассерженных, я видел одни формы людей, колеблющиеся, размахивающие руками; черты лиц, меняющие выражение; слышал то громкие, то тихие восклицания; шумные вздохи прибежавших издалека; но это были только звуки и линии, формы и краски, неспособные дать мне малейшее представление о чувствах, волновавших толпу. Я был спокоен; через двадцать шагов началась улица, я зашел в табачную лавку и купил запонки.

Вечером, механически перелистывая книгу истекшего дня, я заинтересовался своим отношением к жизни как раз по поводу вышеописанного происшествия. Быть может, вы замечали, что зрелище поденщика, раскалывающего дрова под вашим окном, вызывает в вас настолько ясные представления о мускульных усилиях дровокола, что вы сами испытываете некоторое внутреннее напряжение всякий раз, когда топор взвивается над поленом. Ритм жизни, кипевший вокруг меня, можно было сравнить именно с движениями человека, занятого трудной работой; но я лишь гальванически отражал ее. Такое состояние духа, вероятно, никогда не доставило бы мне малейшей тревоги, если бы не невероятная скука, порождавшая раздражительность и тоску. Я не находил себе места; родственники с тревогой следили за моим

поведением, так как я терял аппетит, худел и делался невыносим в общезитии, внося своей неуравновешенностью полный разлад в семью.

Разумеется, я много размышлял о себе и сделал ряд наблюдений, одно из которых явилось для меня фонарем, бросившим свет на темные, полусознательные пути моего духа. Так, я заметил, что чувствую некоторое удовлетворение, совершая загородные прогулки, вдали от зданий. Надо сказать, что с самого детства зрительные ощущения являлись для меня преобладающими, комплекс их совершенно определял мое настроение. Эта особенность была настолько сильна, что часто любимые из моих мелодий, сыгранные в отталкивающей обстановке, производили на меня неприятное впечатление. Основываясь на этом, я постарался провести параллель между зрительными восприятиями города и загородного пейзажа. Начав с формы, я применил геометрию. Существенная разница линий бросалась в глаза. Прямые линии, горизонтальные плоскости, кубы, прямоугольные пирамиды, прямые углы являлись геометрическим выражением города; кривые же поверхности, так же, как и кривые контуры, были незначительной примесью, слабым узором фона, в основу которого была положена прямая линия. Наоборот, пейзаж, даже лесной, являлся противоположностью городу, воплощением кривых линий, кривых поверхностей, волнистости и спирали.

От этого определения я перешел к краскам. Здесь не было возможности точного обобщения, но все же я нашел, что в городе встречаются по преимуществу темные, однотонные, лишенные оттенков цвета, с резкими контурами. Лес, река, горы, наоборот, дают тона светлые и яркие, с бесчисленными оттенками и движением красок. Таким образом, в основу моих ощущений я положил следующее:

Кривая линия. Прямая линия. Впечатление тени, доставляемое городом. Впечатление света, доставляемое природой. Всевозможные комбинации этих основных элементов зрительной жизни, очевидно, вызывали во мне то или другое настроение, колеблющееся, подобно звукам оркестра, по мере того, как видимое сменялось передо мной, пока чрезмерно сильная впечатлительность, поражаемая то одними и теми же, то подобными друг другу формами, не притупилась и не атрофировалась. Что же касается загородных прогулок, то относительно благотворное действие их являлось чувством контраста, так как в городе я проводил большую часть времени.

Продолжая углубляться в себя, я пришел к убеждению, что именно однообразие, резко ощущаемое мной, является несомненной причиной моего угнетенного состояния. Желая проверить это, я перебрал прошлое. Там ничего не было такого, что не переживалось бы другими людьми, и, наоборот, не было ничего доступного человеческой душе, чего не испытал бы и я. Разница была только в форме, обстановке и интенсивности. Разлагая свою жизнь на составные ее элементы, я был поражен скудостью человеческих переживаний; все они не выходили за границы маленького, однообразного, несовершенного тела, двух-трех десятков основных чувств, главными из которых следовало признать удовлетворение голода, удовлетворение любви и удовлетворение любопытства. Последнее включало и страсть к знанию.

Мне было двадцать четыре года, а в молодости, как известно, человек склонен к категорическим заключениям и выводам. Я произнес приговор самому себе. Одна из летних ночей застала меня полураздетым, с твердым решением в голове и стальной штукой в руках, заряженной на семь гнезд. Я не писал никаких записок: мне было совершенно все равно, как будут объяснять причину моей смерти. Взведя курюю, я вытянулся, как солдат на параде, поднес дуло к виску и в тот же момент на стене, с левой стороны, увидел свою тень. Это было мое последнее воспоминание; тотчас же судорожное сокращение пальца передалось спуску, и я испытал нечто, не поддающееся описанию.

К сознанию меня возвратил резкий стук в дверь. Очнувшись, я мгновенно припомнил все происшедшее. Револьвер, хотя и давший осечку, возбуждал во мне невыразимое отвращение; обливаясь холодным потом, я отбросил его под стол ударом ноги и, шатаясь, открыл дверь.

Горничная, вошедшая в комнату с кофейным прибором, взглянув на меня, выронила поднос. Я успокоил ее, как мог, сославшись на бессонницу. Был день, я пролежал без сознания семь часов.

Странно – но этот эпизод развлек меня и заставил сосредоточиться на только что пережитых ощущениях. Меня удивлял пароксизм ужаса перед моментом спуска курка. Инстинкт, не подвластный логике, цеплялся за жизнь, которая от общих своих основ и до самых последних мелочей была мне противна, как хинин здоровому человеку. Терзаясь этим противоречием, я чувствовал себя связанным по рукам и ногам. И вне и внутри меня, соединенный через тоненькую преграду – человеческий разум, клубился океан сил, смысл и значение которых были понятны мне столько же, сколько нож вивисектора понятен для обезьяны. И я, подобно тряпке, опущенной на дно быстрой речки, плыл, колеблясь от малейшей струи течения, из темного в неизвестное. Я был не я, а то, что давали мне в продолжение тридцати лет глаз, ухо и осязание.

Последовавший затем период отчаяния достиг такой напряженности, что я шесть дней не выходил из дома. Не знаю, выпил ли кто-нибудь за такой промежуток времени столько, сколько, расхаживая по комнате, выпил я. Вино обращалось в пожар, сжигающий мозг и кровь то светлыми, то отвратительными видениями тоски. Это был пестрый танец в тумане; цветок вина, уродливый, как верблюд, и нежный, как заря в мае; увлечение отчаянием, молитва, составленная из богохульств; блаженный смех в пытке, покой и бешенство. Я громко рассуждал сам с собой, находя огромное наслаждение в звуках собственного голоса, или лежал часами с ощущением стремительного падения, или сочинял мелодии, равных которым по красоте не было и не будет, и плакал от мучительного восторга, слушая их беззвучную, окрыляющую гармонию. Я был всем, что может представить человеческое сознание, – птицей и королем, нищим на паперти и таинственным лилипутом, строящим корабли в тарелку величиной.

Через шесть дней, в середине ночи, я проснулся от мгновенной тревоги, поднявшей волосы на голове дыбом, и тотчас же, дрожа от беспричинного страха, зажег огонь. Кроме меня, в комнате никого не было; только из большого туалетного зеркала смотрело лицо, воспаленное пьянством, страшное и жалкое. Это было мое лицо. С минуту я смотрел на него, не узнавая себя, потом встал, оделся, подгоняемый беспокойством и стремлением двигаться, и вышел на улицу.

Все спали, но ключ от входной двери был у меня, и я, не разбудив швейцара, покинул дом, направляясь к Новому мосту. Шел я без всякой цели, но быстро, как человек, боящийся опоздать, и помню, рассердился, когда какой-то прохожий, шедший впереди, то с левой, то с правой стороны тротуара, не сразу посторонился. Воздух был свеж и тих, я жадно глотал его и шел, все ускоряя шаги. У моста я остановился, свернул в боковую улицу и, проходя квартал за кварталом, достиг рынка. По мостовой, скользкой от сырости овощного мусора, беззвучно перебежали собаки, прячась за тумбами. Почувствовав небольшую усталость, я присел на огромный дырявый ящик и стал курить.

Нервы мои были так напряжены, что я чувствовал движение времени, отмечая его малейшим сокращением мускулов, неровностью дыхания и тяжелым, бесформенным течением мысли. Я не существовал, как целое; казалось, разбитое и собранное вновь тысячами частиц тело мое страдало физическим страхом перед новой смутной опасностью. В это время два человека вышли из-за угла и тщательно осмотрелись, светя ручным фонариком.

Пространство, разделявшее нас, было не более двух шагов, и я мог достаточно хорошо рассмотреть обоих, оставаясь сам незамеченным, так как столб, подпиравший навес лавок, скрывал мою особу. Один, с оплывшим от спирта угрюмо-благообразным профилем, одетый в коротенькую жакетку с поднятым воротником и котелок, державшийся на затылке, проворно сыпал как будто бессмысленными, ничего не говорящими фразами, набором слов, где общие выражения сталкивались и мешались с лексиконом, подобным тарабарскому языку. Другой,

маленький, нервный, в старом пальто, с лицом сморщенной обезьяны, то и дело хватался за поля шляпы, двигая ее взад и вперед, как будто голова его испытывала нестерпимую боль от прикосновения головного убора. Он настойчиво возражал, иногда возвышая свой и без того тонкий гнусавый голос, и беспомощно мотал подбородком, выражая этим, по-видимому, сомнение. Фонарик он судорожно сжимал левой рукой, и тень от его большого пальца, опущенного на стекло, падала огромным пятном в освещенный угол земли, между ящиком и запертой дверью здания.

Я скоро бы разобрал, кто эти люди, ведущие спор ночью, в глухом месте – будь мое соображение несколько посвежее; но в тот момент я тупо смотрел на них, удивляясь лишь странной манере говорить. Оба они, появившиеся так внезапно и тихо, казались видениями яркого сна, навязчивыми образами, преследующими расстроенный мозг. Я, кажется, ожидал их исчезновения; по крайней мере ничуть бы не удивился, расплывись они в воздухе клубом дыма. Но оба, поговорив, сунули руки в карманы и мелким деловым шагом пошли в сторону.

Я безотчетно встал и пошел за ними, смутно догадываясь, что два вора выходят ночью не на пищеварительную прогулку, и втайне радуясь маленькому, слегка таинственному развлечению – видеть лоскут ночной жизни, так резко отличающейся от дневной, но подчиненной смене одних и тех же законов, знакомых, как лицо родственника. Ночь, с ее кошками, скрытым от глаз пространством, ворами, бродягами, приближающимися в темноте странно блестящие глаза к вашему ожидающему лицу; с нарядно одетыми женщинами, дающими впечатление голых; с тишиной звука и звенящим молчанием – таинственна потому, что в недрах ее у бодрствующих начинает оживать все, убитое законами дня. И я, следуя по пятам за крошечным пятном фонаря, скользившего медленными зигзагами с плиты на плиту, чувствовал себя глазом ночи, причастным ее секретам, хитростям, целям и ожиданиям. Я был соглядатаем, участником из любопытства, звеном между мраком и воровским замыслом. Стараясь шагать беззвучно, я инстинктивно опускал ноги краем подошв и шел бесшумно, как зверь.

Те, за кем я следил, шли безостановочно и уверенно; они, видимо, двигались прямо к цели. Миновав соборную площадь и завернув к реке, они остановились у каменного пятиэтажного дома с огромным подъездом и тотчас же, не теряя времени, приступили к делу.

Я спрятался за угол дома и мог видеть, как маленький завертел руками, пытаясь сломать замок. Должно быть, это оказалось нелегким, потому что сухой треск железа повторялся раз пять, то слабее, то резче, а руки, опытные, проворные руки вора двигались с прежним усилием. Товарищ его то и дело совал ему что-то; маленький брал, кряхтя от нетерпеливой тревоги, и снова начинал взлом. Арсенал хитрых соображений и механических фокусов был пущен в ход перед моими глазами. И вдруг явилось желание попробовать счастья самому, стать вором на час, красться, таиться, разрушать без звука, ходить на цыпочках в незнакомой квартире, брать со страхом, рыться в столах и ящиках и бережно заглядывать в лица спящих светлой щелью фонарика.

Не раздумывая, я встал и твердым шагом пошел к подъезду. И тотчас же увидел мирных прохожих, слегка подвыпивших, но еще бодрых. Котелок сказал обезьяне:

– Позвольте попросить у вас закурить, я потерял спички.

– Пожалуйста, сударь, – ответил маленький, пристально окидывая меня взглядом. – Боюсь, не отсырели ли спички.

– Спички? – сказал я, поворачиваясь в их сторону, – спички есть у меня. Берите.

И я протянул ему спичечницу. Котелок взял ее, пожирая меня глазами. Маленький судорожно поклонился, пискнув:

– Вы очень вежливы!

– Да, по мере возможности! – Я улыбнулся как можно приятнее и раскланялся. – Надеюсь, вас это не обманет? К тому же у меня всегда сухие спички.

– Вы чрезвычайно вежливы, – настойчиво повторил маленький.

– Да, это странно, – отозвался глухим басом другой. – Какая нынче прекрасная погода!

– Погода так хороша, – подхватил я, – что даже не хочется сидеть дома, не правда ли?

Он, не сморгнув, ответил:

– Не отсыреют ли ваши спички, сударь? Воздух немного влажен и не совсем годен для здоровья.

– Другими словами, – сказал я, потеряв терпение, – я вам мешаю? Дверь эта крепкой конструкции.

Они еще силились улыбнуться, но тут же отступили назад, тревожно оглядываясь. Я подошел к ним вплотную.

– Вас двое, – сказал я, – против одного, значит, бояться нечего, тем более, что я вам вредить не буду. Я человек любопытный, ночной шатун – человек, любящий приключения. Я хочу войти вместе с вами и украсть на память о сегодняшней ночи то, что придется мне по душе. Вероятнее всего я возьму какую-нибудь безделушку с камина, значит, вас не ограблю. Итак, вперед, Картуши, Ринальдини, коты в сапогах, валеты и жулики! Я войду с вами, как тень от вашего фонаря.

И только я закрыл рот, как оба повернулись и неторопливо пошли прочь, теряясь в сумраке. Они меня не боялись, это доказывал их презрительно-мерный шаг, но и не доверяли моей навязчивости. Шаги их звучали еще некоторое время, потом все стихло, и я остался один.

Тогда я подошел к двери и тщательно ее осмотрел. Это была большая дверь стильных домов, с бронзой и матовыми стеклами. Чиркнув спичкой, я осветил замочную скважину; она носила следы взлома, медный кружок был сбит, и, кроме того, рядом с дверной ручкой зияли два свежепросверленные отверстия. Машинально я потянул ручку; к величайшему моему удивлению, дверь раскрылась совершенно свободно, как днем.

С минуту я стоял неподвижно, так как не ожидал этого. Они сделали свое дело, и я помешал им войти на лестницу. Я мог теперь воспользоваться плодами чужих трудов и, если сообщение и находчивость придут на помощь, войти в любую квартиру. Мысль эта привела меня в состояние сильнейшего возбуждения – я был уже вором, испытывая страх, нетерпение и острую жажду неизвестного, лежащего за каждым порогом. Я чувствовал себя скрытным, ловким, бесшумным и осторожным.

Тщательно притворив за собой дверь, я медленно распахнул вторую, внутреннюю. Было темно и тихо, толстый ковер площадки мягко уперся в мои подошвы, как бы приглашая идти смелее. С сильно бьющимся сердцем прошел я мимо каморки швейцара, поднялся по лестнице и остановился у первой двери.

И тотчас же мое напряжение сменилось чувством усталости, смешанным с тревожным разочарованием. Мне нечем было открыть дверь. Без инструментов и ключей – и, даже будь у меня орудия, без знания, как употребить их – я должен был неизбежно возвратиться назад с сознанием, что разыграл дурака. И, значит, все, что произошло ночью, было бесцельно; весь ряд случайностей, связанных одна с другой, – рынок, разговор двух, взлом двери и то, что я вошел сюда, в спящий дом, – все это произошло только затем, чтобы я мог уйти снова, бесшумно и незаметно.

Мысль эта показалась мне настолько абсурдной, что я громко расхохотался. Конечно, я не был простым вором, иначе я был бы уже в любой квартире и чувствовал себя там хозяином. Я не был даже вором в том смысле, что мною руководила корысть, связанная с риском преступления. Я не хотел ничего брать; я шел, увлекаемый тайной, предчувствием неизвестного, порогом чужой жизни, тревогой бессонницы и смутным предчувствием логического конца. И от этого удовлетворения меня отделяла дверь, открыть которую я не мог.

– Если конец должен быть, дверь откроется.

Я машинально прошептал эти слова, но тотчас же смысл их вспыхнул, как порох от угля. В самом деле, я еще не пробовал открыть дверь! Тогда, замирая от ожидания, я отыскал ручку и тихо, медленно сокращая мускулы, потянул к себе дверь. Она была заперта.

Новый прилив возбуждения схлынул – я отошел и уселся на подоконнике, ноги мои дрожали. Растерявшись, не будучи в состоянии предпринять что-нибудь, я вытащил портсигар и стал курить.

Прошла минута, другая; табак постепенно оказывал свое действие. Волнение улеглось, мысль текла спокойнее, но так же напряженно и резко, с болезненной отчетливостью каждого слова, выступавшего, как напечатанное, всеми буквами. Какой мог быть конец? Я представил себе, что дверь открыта, и я блуждаю по темным комнатам. Передняя, гостиная, зал, кабинет, спальня и кухня – вот пространство, которое я мог обойти и увидеть то, что знакомо, – обстановку средней руки; самое большее, лица спящих. Итак, постояв минут пять в потемках с риском быть пойманным, как грабитель, я должен уйти тихо и осторожно, как настоящий вор. Отсюда напрашивались два заключения: 1) входить незачем; 2) конца не будет.

И хотя была очевидна правильность моего рассуждения, глухое бешенство сбросило меня с подоконника, как ветер – клочок бумаги. Я подошел к двери с дерзостью отчаяния, с страстным желанием войти и убедиться, что ничего нет. Логика приводила меня к бессилию, рассуждение – к отступлению, простое бессознательное движение мысли – к мертвому тупику. Я бросился на штурм своего собственного рассудка и поставил знамение желания там, где была очевидность. В несколько секунд я пережил столкновение сомнений и несомненности, иронии и экстаза, страха и ожидания; и когда, наконец, ясная твердая решимость остановила лихорадочную дрожь тела – почувствовал себя таким разбитым и ослабевшим, как будто по мне бежала толпа. Я – знал, что будет.

Несомненным, действительно несомненным было для меня то, что ни квартиры, ни мебели, ни людей нет. Есть неизвестное. То, к чему невольно, непреодолимо, неизбежно пришел я ночью, не зная, что меня ждет. Я стоял на пороге чуда. Я стоял перед всем и перед ничем. Я стоял перед смыслом рынка, котелка, обезьяны, взломанной двери, коробки спичек и своего присутствия.

Тогда, против моей воли, скрытое стало приобретать зрительные образы, цвета воспаленной мысли. Симфония красок кружилась перед моими глазами, и переливы их были музыкальны, как оркестровая мелодия. Я видел пространство, границами которого были звуки, музыка воздуха, движение молекул. Я видел роскошь бесформенного; материю в ее наивысшей красоте сочетаний; движущиеся узоры линий; изящество, волнуемое до слез; свет, проникающий в кровь. Я был захвачен оргией представлений. И бессознательно, как хозяин, вынул из бокового кармана ключ.

Момент, когда мне показалось, что все это было, и я уже когда-то стоял так же на лестнице, был мал, как движение крыльев стрижа, порхающего над озером. Я с трудом уловил его. И, погрузившись в себя, замер от ожидания.

Ключ был в моих руках, маленький, медный ключ не от этой двери, но я уже знал, что войду. Уверенность моя была так велика, что я даже не удивился, когда, вложив его в скважину, услышал, как замок щелкнул мягким, странно знакомым звуком. Я волновался так сильно, что принужден был остановиться и переждать припадок сердцебиения. Затем отворил дверь и, шагнув, очутился в темном, нагретом воздухе.

Не помню в точности, что переживал я тогда. Прямо был коридор; я угадал это по особому ощущению тесноты, хотя и не прикасался к стенам. Я двигался по нему как во сне, не зажигая спички, руководимый инстинктом, и, когда сделал десять шагов, понял, что надо остановиться. Почему? Я сам не знал этого. Тело мое было неудержимо и как будто привычно стремилось направо, где, по смутно мелькнувшему убеждению, должна была находиться дверь.

Я шел на цыпочках, сдерживая дыхание... Прежде чем повернуть вправо, я невольно поколебался. Почему – дверь? Я протянул руку, ощупывая ее, и тут, второй раз, неуловимо, как тень от выстрела, скользнуло воспоминание, что этот момент был. Я так же, но неизвестно когда, стоял в темноте коридора, щупая дверь.

Отчаянный страх парализовал мои члены. Ясно, всем существом своим я чувствовал, что сейчас произойдет что-то невообразимое, абсурдное, невозможное. Трясущимися руками я достал спичку, зажег ее и, прежде чем осмотреться, невольно закрыл глаза. Сколько времени я простоял так – не помню, но когда огонь приблизился к пальцам и боль начинающегося ожога дала знать, что сейчас снова наступит тьма, – я взглянул, и в тот же момент спичка погасла, тлея кривой искрой. Но, несмотря на краткость момента, я увидел, что в стене направо действительно была дверь и что я стою в коридоре. Тогда я распахнул дверь, вошел и снова зажег свет.

Это была моя комната; все, начиная с мебели к кончая безделушками на камине, – было мое: картины, оконные занавески, книги, посуда, пол, потолок, обои, письменные принадлежности – все это было известно мне более, чем свое собственное лицо. С тяжестью в сердце, беспомощный сообразить что-нибудь, я обошел все углы, и каждый предмет, который встречали глаза, был мой. Ни одной вещи, способной опрокинуть кошмар чудовищного сходства, не было. Я был у себя.

Тогда, хватаясь за последнюю, безумную в основе надежду, я подался к кровати, отдернул занавески и увидел спящего человека. Человек этот был – я.

Здесь Бирк остановился, как бы собираясь с воспоминаниями. Последние его слова заставили многих переглянуться. Он продолжал:

– Я вышел на лестницу, спустился к швейцару, разбудил его и увидел заспанное, бритое, знакомое лицо. Овладев собой, я попросил его войти в мою комнату, осмотреть ее и вернуться. Он повиновался с некоторым удивлением; помню, шлепанье его туфель доставило мне огромное удовольствие. Через минуту он возвратился, и между нами произошел следующий разговор:

– Вы осмотрели всю комнату?

– Да.

– В ней никого не было?

– Совершенно.

– Вы осмотрели кровать?

– Да.

– Кто лежал на этой кровати?

– Она была пуста.

– Теперь, – сказал я, – будьте добры, взгляните на наружную дверь.

С изумлением, еще большим, чем прежде, он вышел на тротуар. Я слышал его возню, он нагибался, рассматривал и вдруг крикнул:

– Здесь были воры! Дверь сломана!

И он выпустил град ругательств.

Так как Бирк замолчал, я обратился к нему с вопросом.

– Потом вы вернулись к себе?

– Нет, – протянул он, полузакрывая глаза, – я ночевал в гостинице. Впрочем, это не имеет значения. Я мог бы, конечно, вернуться к себе, но чувствовал потребность успокоиться.

– А потом? – спросил журналист с тонкой улыбкой. – Потом с вами ничего не было?

– Ничего, – задумчиво сказал Бирк. Он был, видимо, утомлен и сидел, подпирая рукой голову. Больше ему не задавали вопросов, но в общем молчании веяло неясное ожидание. Наконец, хозяин сказал:

– Ваша история, действительно, чрезвычайно интересна. В ней много стремительной напряженности, экспрессии и... и...

– И горя, – сказала женщина, просившая о нестрашном.

P.S. Записав этот рассказ, я пришел к убеждению, что дама ошиблась, предположив в истории Бирка элемент горя. Этот человек был всем нам известен, как очень богатый землевладелец, путешественник и гурман. Правда, его никто ни разу не уличал во лжи. Но как поручиться, что ему не пришло в голову желание искусной и, по существу, невинной мистификации? Также странно, что он говорил о себе, как о человеке, лишенном воображения; по-моему, то место в его рассказе, где он грезит перед запертой дверью, доказывает противное. Не менее подозрительны его слова в самом начале: «Я готов развернуть перед вами душу, и если вы поверите ей, – самый факт необычайного, который, по-видимому, более всего вас интересует, потеряет в ваших глазах всякое обаяние. Впрочем, я не берусь утверждать что-нибудь определенное без доказательств в руках». В его пользу говорит только одно: он ни разу не улыбнулся.

Путь

I

Замечательно, что при всей своей откровенности Эли Стар ни разу не проболтался мне о своем странном открытии; это-то, конечно, и погубило его. Признайся он мне в самом начале, я приложил бы все усилия, чтобы исправить дело. Но он был скрытен; может быть, он думал, что ему не поверят.

Все объяснилось в тот день, когда взволнованный Генникер, не снимая шляпы, появился в моем кабинете, нервно размахивая хлыстом, готовый, кажется, ударить меня, если я помешаю ему выражать свои ощущения. Он сел (нет – он с силой плюхнулся в кресло), и мы несколько секунд бодали друг друга взглядами.

– Кестер, – сказал он наконец, – думаете ли вы, что Эли порядочный человек?

Я встал, снова сел и вытаращил на него глаза.

– Вы выпили немного, Генникер, – сказал я. – Улыбнитесь сейчас же, тогда я поверю, что вы шутите.

– Вчера, – сказал он таким голосом, как будто читал по книге завещание одного из персонажей романа, – вчера Эли Стар пришел к нам. У него был подавленный, удрученный вид, он присидел с нами, как истукан, почти не разговаривая, до вечера.

После чая явился один из клиентов с просьбой перестроить фасад дома. Я уединился с ним, но сквозь неплотно притворенную дверь кабинета слышал, как моя сестра Синтия предложила Эли прогуляться в саду. Приблизительно через полчаса после этого, когда клиент удалился, Синтия с заплаканным лицом подошла ко мне. На ее голове был шерстяной платок, она только что вернулась из сада.

– Ну, что? – немного встревоженный спросил я. – Вы поссорились?

– Нет, – сказала она, подходя к окну, так что мне были видны только ее вздрагивающие плечи, – но между нами все кончено. Я не буду его женой.

Пораженный, я встал; первой моей мыслью было отыскать Эли. Синтия угадала мое движение. – Он ушел, – сказала она, – ушел так поспешно, что я даже не разобрала, в чем дело. Он говорил, кажется, что должен уехать. – Она рассмеялась злым смехом; действительно, Кестер, что может быть оскорбительнее для женщины?

Я засыпал ее вопросами, но мне не удалось ничего добиться. Эли ушел, отказался от своего слова, не объясняя причины. Попробуй защитить его, Кестер.

Я внимательно посмотрел на Генникера, его трясло от негодования, кончик хлыста бешено извивался на полу. Для меня это было еще большей неожиданностью.

– Может быть, он скажет тебе в чем дело, – продолжал Генникер. – До сих пор его прямые глаза служили мне отдыхом.

Я взял шляпу и трость.

– Посиди здесь, Генникер. Я прохожу недолго. Кстати, когда ты видел его последний раз? Раньше вчерашнего?

– В прошлое воскресенье, за городом. Он шел от парка к молочной ферме.

– Да, – подхватил я, – постой, вы встретились.

– Да.

– Ты поклонился?

– Да.

– И у него был такой вид, как будто он не замечает твоего существования.

– Да, – сказал изумленный Генникер. – Но тебя ведь с ним не было?

– Это не трудно угадать, милый; в то же самое воскресенье я встретился с ним лицом к лицу; но он смотрел сквозь меня и прошел меня. Он стал рассеян. Я уйду, Генникер, к нему; я умею расспрашивать.

II

В серой полутьме комнаты я рассмотрел Эли. Он лежал на диване ничком, без сюртука и штиблет. Шторы были опущены, последний румянец заката слабо окрашивал их плотные складки.

– Это ты, Кестер? – спросил Стар. – Прости, здесь темно. Нажми кнопку.

В электрическом свете тонкое юношеское лицо Эли показалось мне детски-суровым – он смотрел на меня в упор, сдвинув брови, упираясь руками в диван, словно собирался встать, но раздумал. Я подошел ближе.

– Эли! – громко произнес я, стремясь бодростью голоса стряхнуть гнетущее настроение. – Я видел Генникера. Он взбешен. Поставь себя на его место. Он вправе требовать объяснения. Наверное, и меня это также немного интересует, ведь ты мне друг. Что случилось?

– Ничего, – процедил он сквозь зубы, в то время как глаза его силились улыбнуться. – Я попрошу прощения и напишу Синтии письмо, из которого для всех будет ясно, что я, например, негодяй. Тогда меня оставят в покое.

– Конечно, – сказал я мирным тоном, – ты или подделал вексель, или убил тетку. Это ведь так на тебя похоже. Элион Стар, я тебя спрашиваю – отбросим шутки в сторону, – почему ты обидел эту прекрасную девушку?

Эли беспомощно развел руками и стал смотреть вниз. Кажется, он сильно страдал. Я не торопил его; мы молчали.

– Расскажешь, – подозрительно сказал он, испытующе взглянув на меня. – Я не хочу этого, потому что мне нельзя верить, Кестер, – конечно, я отбрасываю прежнюю жизнь в сторону, но я не в силах поступить иначе. Если я расскажу тебе в чем дело, то погублю все. Вы – то есть ты и Генникер – отправите меня с доктором и будете уверять Синтию, что все обстоит прекрасно.

– Эли, я даю слово.

Не знаю почему, – эти мои вялые, неуверенные слова ободрили его. Может быть, он и сам искал случая поделиться с кем-нибудь тем странным и величественным миром, который стал близок его душе.

Он как будто повеселел. «В самом деле», – говорили его глаза. Но он все еще колебался; казалось, желание быть в роли вынужденного рассказчика превышало его собственную потребность в откровенности. Я продолжал уговаривать его, понукать, он сдавался. Излишне приводить здесь те скомканные полуотрывочные фразы, которые обыкновенно предшествуют рассказу всякого потрясенного человека. Эли высыпал их достаточно, пока коснулся сущности дела, и вот что он рассказал мне:

«Две недели назад утром я проснулся в тоскливом настроении духа и тела. К этому обычному для меня в последнее время состоянию примешивалось непонятное, тревожное ожидание. Вместе с тем я испытывал ощущение глубокого, торжественного простора, который, так сказать, проникал в меня неизвестно откуда; я был в четырех стенах.

Я вышел на улицу, погруженный в молчаливое созерцание солнечных улиц и движущейся толпы. У первого перекрестка меня поразил маленький цветущий холм, пересекавший дорогу как раз в середине каменного тротуара. С глубоким удивлением (потому что это центральная часть города) рассматривал я степную ромашку, маргаритки и зеленую невысокую траву. Тогда

господин, шедший впереди меня по тому же самому тротуару, прошел сквозь холм, да, он погрузился в него по пояс и удалился, как будто это была не земля, а легкий ночной туман.

Я оглянулся, Кестер; город принимал странный вид: дома, улицы, вывески, трубы – все было как бы сделано из кисеи, в прозрачности которой лежали странные пейзажи, мешаясь своими очертаниями с угловатостью городских линий; совершенно новая, невиданная мною местность лежала на том же месте, где город. Случалось ли тебе испытывать мгновенный дефект зрения, когда все окружающее двоится в глазах? Это может дать тебе некоторое представление о моих впечатлениях, с той разницей, что для меня предметы стали как бы прозрачными, и я видел одновременно сливающимися, пронизывающими друг друга – два мира, из которых один был наш город, а другой представлял цветущую, холмистую степь, с далекими на горизонте голубыми горами.

Я был бы идиотом, если бы захотел дать тебе уразуметь степень потрясения, уничтожившего меня до полного паралича мысли; пестрая вереница красок сверкала перед моими глазами, небо стало почти темным от густой синевы, в то время как яркий поток света обнимал землю. Ошеломленный, я поспешил назад. Я пришел домой по каменному настилу мостовой и восхитительно густой траве изумрудного блеска. Поднимаясь по лестнице, я видел внизу, в комнате привратника, продолжение все той же, имевшей полную реальность картины – дикие кусты, ручей, пересекавший улицу.

С наступлением вечера двойственность стала тускнеть; еще некоторое время я различал линию таинственного горизонта, но и она угасла, как солнце на западе, когда мрак ночи охватил город.

На следующий день я проснулся, продолжая разглядывать второй мир земли с чувством непостижимого сладкого ужаса. Не было более оснований сомневаться; тот же странный, величественный пейзаж сверкал сквозь очертания города; я мог изучать его, не поднимаясь с постели. Широкая, туманная от голубой пыли, дорога вилась поперек степи, уходя к горам, теряясь в их величавой громаде, полной лиловых теней. Неизвестные, полуголые люди двигались непрерывной толпой по этой дороге; то был настоящий живой поток; скрипели обозы, караваны верблюдов, нагруженных неизвестной кладью, двигались, мотая головами, к таинственному амфитеатру гор; смуглые дети, женщины нездешней красоты, воины в странном вооружении, с золотыми украшениями в ушах и на груди стремились неудержимо, перегоняя друг друга. Это походило на огромное переселение. Сверкающая цветная лента толпы, звуки музыкальных инструментов, скрип колес, крик верблюдов и мулов, смешанный разговор на непонятном наречии – все это действовало на меня так же, как солнечный свет на прозревшего слепца.

Толпы эти проходили сквозь город, дома, и странно было видеть, Кестер, как чистенько одетые горожане, трамваи, экипажи скрещиваются с этим потоком, сливаются и расходятся, не оставляя друг на друге следов малейшего прикосновения. Тогда я заметил, что лица смуглых людей, мужчин и женщин – ясны, как весенний поток.

Снова с наступлением темноты я перестал видеть виденное и проходил всю ночь, не раздеваясь, по комнатам. Куда идут эти люди? – спрашивал я себя. Движение не прекращалось вплоть до сегодняшнего дня. Кестер, я вижу изо дня в день эту стремительную массу людей, проходящих через великую степь. Несомненно, их привлекает страна, лежащая за горами. Я пойду с ними. Я твердо решил это, я завидую глубокой уверенности их лиц. Там, куда направляются эти люди, непременно должны быть чудесные, невысказанные для нас вещи. Я буду идти, придерживаясь направления степной дороги».

Он смолк. Лицо его было необыкновенно в этот момент, я действительно верил тогда, что Эли видит что-то непостижимое для обыкновенного человека. Он не мистифицировал. Глубокое волнение, с которым он закончил свой рассказ, производило потрясающее впечатление. Вместе с тем я чувствовал потребность немедленно идти к Генникеру и обсудить качества одной хорошей лечебницы.

Я ушел, оставив Эли в глубокой задумчивости. Мне нечего было сказать ему, расспросы же могли вызвать только новый приступ экзальтации. Генникера я не застал, он ушел, соскучившись ждать. Но на другой же день родственникам Эли пришлось поместить газетную публикацию:

«Разыскивается молодой человек, Элион Стар, среднего роста, блондин, с хорошими манерами, маленькие руки и ноги, тихий голос; вышел из дома с небольшим ручным саквояжем в 11 ч. утра. Указавшему местопребывание Стара будет выдано хорошее вознаграждение».

В солидной, купеческой гостиной сидели пожилые люди, коммерсанты, две барышни, их мамаша и я. Хозяин дома, выйдя из кабинета, сказал мне:

– Кестер, помните нашумевшую десять лет назад историю с загадочным исчезновением юноши Элиона Стар? Он был ваш друг.

– Да, помню, – сказал я.

– Он умер. Родственники его получили на днях полицейское официальное уведомление об этом из Рио-Жанейро. При нем нашли документы, указывающие его имя и звание.

Я встал.

– Да... бедняга, – продолжал хозяин, – он умер в отрепьях, с наружностью закоренелого бродяги, если судить по фотографической карточке, снятой полицейским врачом. Умер он в какой-то харчевне. Отец Эли за большие деньги выписал сюда этого врача, чтобы расспросить самому, как выглядел его сын.

– Он лежал совершенно спокойно, – сказал отцу Эли врач, – казалось, что он спит. В лице его было непонятно одно – улыбка. Мертвый, он улыбался.

Я наклонил голову, отдавая этим последнюю дань моему молодому другу. «Он улыбался». Неужели он нашел перед смертью страну, лежащую за горами?

Мертвые за живых

І. Бегство

Комон, иначе именуемый – Гимнаст, – начал игру с правительством. Почтенная игра эта угрожала так плотно, что утром, заслышав на коридоре ласковый перезвон шпор, Комон, не медля секунды, перестал завтракать. Он встал, выпрямился, все еще с набитым, жующим по инерции ртом; затем, решительно выплюнув непрожеванный сыр, поднял револьвер и подошел к двери.

– Откройте, – многозначительно воскликнул некто из коридора.

– Сколько вас? – спросил Комон. – Я спрашиваю потому, что, если вас очень много, вы не поместитесь все в одной комнате.

– Комон, именуемый Гимнаст. Откройте.

– Я потерял ключ.

– Ломайте, ребята, дверь.

– Я посмотрю на вас в дырочку, – сказал Гимнаст.

Он выстрелил несколько раз сквозь доски, соображая в то же время, куда бежать. Шум и грохот за дверью показал ему, что там шарахнулись. Он подбежал к окну, заглянул в шестиэтажное, узкое пространство улицы, перегнувшись в сторону таким могучим усилием, что тело несколько мгновений держалось за подоконник только носками, поймал водосточную трубу. Через минуту он спрыгнул на мостовую без шапки и с револьвером в зубах, напоминая кошку, уносящую воробья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.